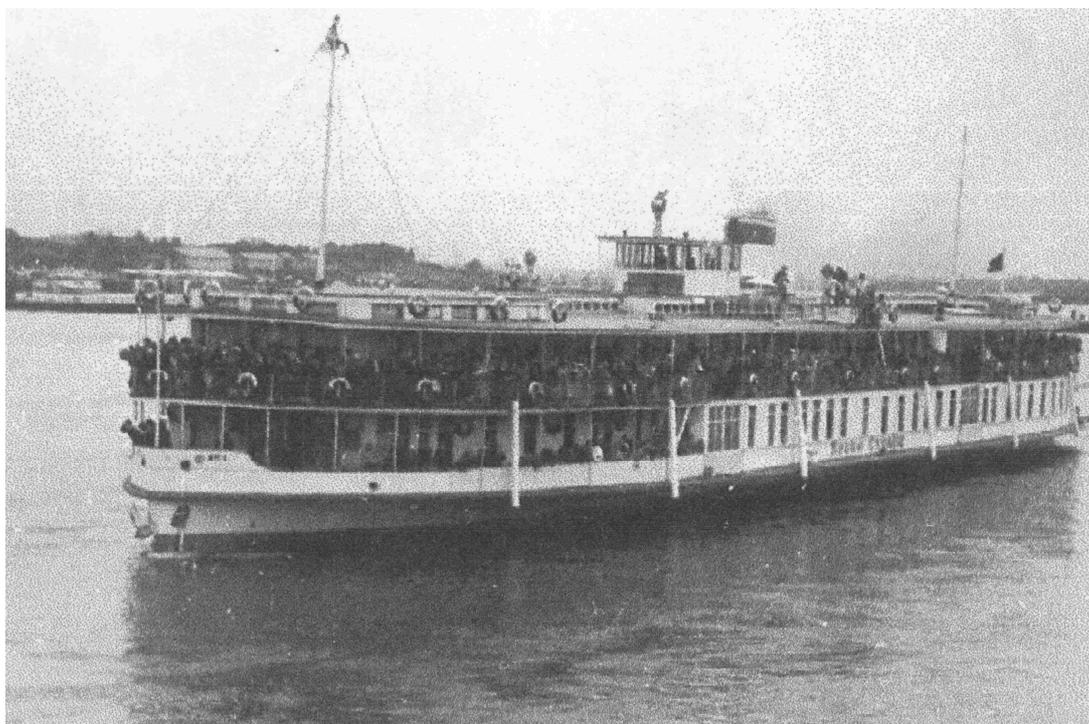


Часть III.

Ссылка



Глава 15. Туруханская ссылка

Туруханск, посёлок на высоком правом берегу Енисея при впадении в него Нижней Тунгуски. Вырос из зимовья, основанного в 1607 году. Окончательно сложился в первой четверти 18 века. Тогда в нем было 120-130 дворов. Сюда, на июньские ярмарки, для купли-продажи приходило почти всё взрослое население Туруханско-таймырского района. Главным товаром на ней была пушнина. Её доставляли сюда охотники с Нижней Тунгуски, с низовий Енисея и многочисленных северных рек. Соболь, белки и голубые песцы, недопёски, медведи, росомахи, чёрные, серые и рыжие лисы, белые волки. С Туруханской ярмарки мангазейская пушнина попадала на августовскую ярмарку в Енисейск. Здесь её скупали и выменивали купцы, прибывающие из Тобольска и от китайской границы.

В 19 веке Енисейская губерния стала превращаться в место ссылки. За первых 50 лет сюда выслали около сорока тысяч ссыльных, в том числе несколько тысяч польских повстанцев. С годами поток ссыльных нарастал. Однако направлялись они в основном в центральные и южные районы губернии. Лишь незначительная их часть оседала в низовьях Енисея.

Всего к концу 19 века в России числилось единовременно 300 тысяч ссыльных. Среди них много таких, кого выселяли «за две губернии». Например, из Тамбовской губернии в Оренбургскую, и наоборот. В соответствии с существовавшим в царское время положением, политических ссыльных не только не гоняли на работу, но даже выделяли им деньги, позволявшие как-то существовать. Денежное содержание получали и все административно-ссыльные.

Ситуация резко изменилась в конце двадцатых - начале тридцатых годов двадцатого века, когда в Сибирь хлынул поток раскулаченных. Сотнями тысяч гнали их, мужчин и женщин, детей и стариков, по бесконечным степным дорогам, лесным тропам, болотным гатям в самые суровые и необжитые уголки России в тайгу, в раскалённые пески, в ненасытные болота, на мёртвые, безжизненные берега северных рек.

В 1942 году история повторилась. Однако теперь состав ссыльных определялся не социальным происхождением или политическими взглядами, а национальной принадлежностью. По тем же дорогам, тропам, рекам в Сибирь и Казахстан везли немцев. Не военнопленных, не фашистов, а своих, отечественных.

Везли без суда и следствия. Гнали женщин, детей, стариков. В отличие от того, «кулацкого», этот поток был без мужчин. Их изолировали от семей еще раньше, в январе-феврале, и отправили в трудармию. Многих направили в низовья Енисея, на Таймыр. Как и «кулацкие семьи», их везли в трюмах и на палубах лихтеров и барж, под конвоем, в страшной тесноте. Как и тогда, людей высаживали на пустынные берега Енисея, на острова, даже на затопляемые острова.

Прошло еще семь лет и вот теперь, в 49-ом, тот же путь пришлось проделать Нине. Сначала жаркая, зловонная духота товарного вагона, ещё хранящего запаха перевозимого скота, потом марш-бросок до Красноярской пересылки. Она не попевала. На нее орали, её толкали прикладами, чтобы быстрее шла, она теряла сознание. Выручила уголовница, бросившаяся на охранника. Ночью, лежа в камере, недалеко от параши, со сложным чувством страха и счастья прислушивалась к движению зародившейся в ней жизни.

Наконец, в середине августа этап в Туруханск. Баржа. Трюм. Теснота. Но хотя бы не так душно. Особенно, если подняться на палубу. Но выпускали только в туалет, да и идти по скользкому трапу, к тому же без поручней, трудно. Туалет на корме. Рядом часовой. А за кормой величавые, поросшие лесом скалы, как тискарами сжимающие Енисей. Такая красота, смотрела бы часами, но конвоир торопит. И надо спускаться в трюм.

В Туруханск прибыли в двадцатых числах августа. Там привезённых «разбирали» председатели рыболовецких колхозов, как когда-то рабов, только разве не проверяли зубы и не щупали мышцы. Нину никто брать не хотел. Кому она была нужна в таком положении. Тем более, что беременность испортила не только фигуру. Глаза потускнели, кожа лица утратила свою нежность и покрылась родовой пигментацией, губы обветрило, невымытые волосы свисали прядями. Вся она была обращена внутрь себя, к той новой жизни, которая все явственнее давала о себе знать.

Но не таковы «чекисты», чтобы уступить. Нажав на председателя Селиваниховского рыболовецкого колхоза, они вынудили его взять Нину. Её отвезли в Селиваниху - станок (становище) в двух километрах вниз по Енисею. Землянки, несколько покосившихся изб, контора. Работать направили в бригаду огородников на прополку моркови. Жить определили в семью местного рыбака. Его жена, немка, из тех, которых в 1942 году разбросали по берегам Енисея. В семье трое маленьких ребятишек. С большими рахитичными животами и характерными для местных жителей лицами. От

матери им достались только темно-карие глаза. Они целыми днями пропадали на Енисее, встречая лодки с уловом и поедая трепещущую в руках рыбу.

Место ей выделили в коридорчике, нечто вроде прихожей, отделивающей землянку, в которой жила семья, от внешнего мира, наполненного гнусом. Ночью хозяева с детьми прятались от него под пологам, а в прихожей ставили дымокур. Нина задыхалась от дыма, но без него её бы заели комары и мошкара. Утром председатель, почему-то невзлюбивший Нину, гнал её на работу, и она, ползая по грядкам, прореживала морковь. Хотя у неё ещё сохранились деньги, но, купить что-либо было практически невозможно. Хозяйка, жалея её и таясь от мужа, давала полстакана молока в день.

В конце недели, доведённая до отчаяния и полностью опустошённая, Нина решила покончить счеты с жизнью. Не дождав-шись конца рабочего дня, ушла на берег Енисея. Присела на перевернутую вверх дном лодку. У самых ног плескалась свинцово-тяжёлая вода Енисея. За спиной сохли растянутые на жердях сети. Над головой таинственно мерцало низкое, сумрачное небо. И ни души, только с криком проносились чайки, да где-то вдали грызлись собаки.

Она знала, что здесь берег круто уходит в воду. Один шаг и все, и полное освобождение от всего этого ужаса. Она давно была готова к такому шагу. Мешала только мысль о нем.

Имеет ли она право отнять у него жизнь?

Подумала и тут же спохватилась: «Что-то давно его не слышно! Ведь обычно он так часто и так сильно «бушевал», особенно когда она нервничала. А сегодня! Испуганная, стала прислушиваться! Минута, другая. Никаких признаков жизни. Она пошевелилась, ожидая привычного ответного движения. Но его не было. Суеверный страх охватил её. Как она могла допустить такие мысли. А теперь Бог наказал её, отняв ребенка! Она сама, сама навлекла на себя, нет, нет, на него это несчастье! Она вскочила и как безумная бросилась в поселок к людям. И в этот момент «он» зашевелился!

Невероятная слабость охватила её, ноги подкосились, и она, пошатнувшись и не находя опоры, опустилась на песчаный берег. Здесь Нину и нашла обеспокоенная её долгим отсутствием хозяйка. Отвела домой, напоила горячим чаем и укрыла своим одеялом. На рассвете начались схватки. Хозяйка отвела её на берег, усадила в лодку и, взявшись за бечеву, за час доставила в Туруханск.

Роддом, чистая палата, заботливая сестра. Как в другом мире. Ночью начались роды. Стимулировали уколами. С муками родила мальчика. Назвала Валериком. В честь Валерия Чкалова, в которого еще девчонкой была влюблена. Телеграмма мне, телеграмма от меня и перевод 600 рублей.

Валерик часто температурил, и их продержали в больнице больше месяца. Было очень одиноко. Соседок навещали родные и друзья. К ней, естественно, никто не приходил. Только однажды в палату в накинутом поверх бушлата халате, зашёл председатель Селиваниховского колхоза. Хотел забрать. Но врач не пустил. С тревогой часами прислушивалась к плачу малышей в соседней палате, пытаюсь узнать голос Валерика. Письма от меня стали приходиться к концу второй недели. Вереница писем, иногда по два письма в день. Я писал их утром и вечером; толстые, лишь бы приняли на почте. Письма с продолжением. Такой же поток шёл от Нины ко мне.

Но всё кончается, кончилось и временное пребывание в больнице. И вот она стоит на больничном крыльце, прижимая к груди завёрнутого в тоненькое одеяльце сына. Сумрачное небо, низкие лохматые тучи, холодный и сырой ветер с Енисея. Куда идти?! Где найти приют? Выручила одна из санитарок. Привела к своей знакомой, жившей по улице Крестьянской, 24. Хозяйка - местная жительница преклонного возраста. Одна комната, большая, холодная. Печь с плитой. Около неё хозяйская кровать. Нинину койку поставила у холодной стены, недалеко от окна. Рядом, на стульях - ванночка, в ней постелька Валерика. Когда открывалась дверь, клубы холодного воздуха устремлялись прямо к ней.

За жильё надо было платить 100 рублей в месяц. Но где их взять? Деньги, которыми я снабдил Нину при отъезде из Соликамска, так же как, и те, которые я прислал ей при рождении Валерика, быстро таяли. Надо было столько купить новорождённому. А что дальше? Работы не было, да и Валерика не с кем оставить.

В последнем письме я обещал высылать по 450-600 рублей в месяц. Она понимала, как трудно это было для меня. Моя «зарплата» 200 рублей. Кроме того, в связи с частыми командировками мне, ещё во время пребывания Нины в Кушмангорте, разрешали получать паек деньгами. Это еще 400 рублей. А как буду жить я, чем питаться? Кроме того, как переслать такие деньги? Это не письмо, которое я мог отправить почти с любым попутчиком. В окружающих Кушмангорт деревнях, в том числе и Кольчуге, для того чтобы отправить перевод, требовалось предъявить паспорт. Следовательно, нужно было искать вольнонаёмных попутчиков в Чер-

дынь или Соликамск. Или просить у Фаерштейна разрешения на перевод. Но не так часто.

Нина всё это знала и, понимая ненадёжность такого источника существования, стала искать работу. Каждое утро с Валериком на руках обходила она немногочисленные предприятия, учреждения и учебные заведения Туруханска, но безуспешно. Узнав, что она ссыльная, либо сразу отказывали, либо, смущенно отводя глаза, советовали придти через неделю, месяц или обратиться в соседнее учреждение.

Сначала к ней относились как к лагерной потаскушке (возможно, ей так только казалось), потом, когда стало известно, что она регулярно получает письма и переводы, отношение к ней, по крайней мере на почте, изменилось. От этого веяло романтикой. По посёлку стал распространяться слух, что эта измождённая, с печальными глазами и ребёнком на руках женщина каждый день получает письма, иногда несколько, и все от одного и того же человека. Это было так странно и необычно. Ведь многие из них были рады и одному письму в месяц. Теперь, когда её, бредущую с Валериком на руках, встречали прохожие, то, пройдя мимо, оглядывались и о чем-то шептались.

К новому году усложнились отношения с хозяйкой. Последнюю раздражало всё: и плач Валерика, и его ежедневное купание, и Нинина чистоплотность. Особенно нетерпимой она стала, когда узнала, что я немец. Несколько раз в присутствии Нины назвала Валерика немецким выродком. Не судите её за это. В те послевоенные годы раны еще кровоточили. Но Нине пришлось срочно искать другую квартиру. Её приютила добрейшая женщина. Имени её не помню. Фамилия Иноземцева. Жила она без мужа с шестью ребятишками. Старшей было двенадцать лет, младшему - пять. Жили очень бедно, но достойно. В одной комнате. Пол затянут парусиной. Вдоль стен кровати. На каждой двое. Кровати раздвинули, освободив Нине с Валериком место у печки. Чистота, порядок, душевность.

Теперь Нина усилила поиски работы. Беспокоила неопределённость положения, когда её собственная жизнь а, следовательно, и жизнь её маленького сына полностью зависели от того, смогу ли я, находясь в лагере, высылать деньги. Пока что они приходили довольно регулярно, три раза в месяц по 150-200 рублей. Ну, а что будет, если что-либо случится со мной. Вдруг сменится начальство и меня пошлют на общие работы или лишат возможности получать довольствие деньгами, или, наконец, запретят переводить деньги. Что тогда делать? Ведь по линии государства ни ей, ни

Валерику не полагалось ни копейки. И ни одного человека, у которого можно было их при необходимости занять. Правда, появились знакомые, в основном соседки, которые ей сочувствовали, с интересом слушали её рассказы обо мне, о её надеждах и планах на будущее. Им её рассказы казались неправдоподобными, а надежды несбыточными. Нина горячилась, доказывая, что я хороший и обязательно приеду, а они с сомнением хмыкали, поджимая губы. Но все они, как и её хозяйка, были бедны и занять у них денег было невозможно.

А работы все не было. Вообще-то она была. Даже висели объявления, в которых приглашались бухгалтера, машинистки. Нина спешила туда, но её уверяли, что только вчера работника приняли, и теперь вакансии уже нет. Наконец, доведённая до отчаяния, она решила идти в райком. Записалась на приём к первому секретарю, не указав, что она ссыльная. Её представление об этом учреждении не поколебали ни превратности судьбы, ни опыт общения с людьми, ни разговоры со мной.

Нину приняли. За письменным столом с тремя телефонами (для Туруханска это был важный признак власти) сидел энергичный и еще довольно молодой мужчина в кожанке. Когда выяснилось, что она ссыльная, он возмутился.

- Как вы посмели прийти сюда, - кричал он, разве что не топал ногами, и добавил:

- То, что вы были секретарём райкома комсомола и членом партии, только усугубляет вашу вину.

Наивная моя Ниночка, прижимая к себе Валерика, пыталась вставить слово:

- Ведь я объясняю вам, что это трагическая ошибка, что меня оклеветали. И куда же мне теперь обращаться? Ведь мы с сыночком можем погибнуть.

- Слушать ваши объяснения не намерен, да и права у меня такого нет. Раз вам дали срок, значит вы виноваты. И забудьте дорогу сюда. И ребёнка своего не таскайте. А насчет работы идите в органы или райисполком.

Опершись мускулистыми руками на крышку стола, поднялся и нажал кнопку звонка.

Вошла миловидная, накрашенная секретарша и вопросительно посмотрела на своего начальника.

- Внимательно посмотрите на эту женщину, запомните, и чтобы ноги её в райкоме партии не было.

Всё! Разбитая, раздавленная, шатаясь от слабости и унижения, вышла она из учреждения, которое всегда считала символом человеческой справедливости.

Через несколько дней, придя в себя, решила сделать еще одну попытку - обратиться в райисполком к представителям советской власти. Принял её пожилой мужчина с холёным лицом, тонкими нервными пальцами и запомнившимся ей ярким галстуком. На прямом, тонком носу то ли золотое, то ли позолоченное пенсне.

Не ожидая от него ничего хорошего, всё же начала свой рассказ. И удивилась. Её слушали, и даже, как показалось, сочувственно. Валерик сидел на руках притихший и смотрел на дядю. Обрадованная тем, что её слушают, отступив от намеченного лаконичного повествования, пустилась в подробности и, вдруг испугавшись, замолчала.

Председатель райисполкома, а это был он, спрашивает:

- Я все понял! Чем же я могу Вам помочь?

- Помогите найти хоть какую работу. Муж нам немного помогает, но ведь он и сам в крайне тяжёлом положении. Я ходила в школу, там нужен секретарь, ходила в райпотребсоюз - там нужен бухгалтер, ходила в столовую - там нужен счетовод, но все отказывают, конечно, потому что я ссыльная. Но как мне жить? Сама я готова умереть, но у меня вот сынишка.

- Ладно, я уже слышал о вас. Идите домой, а завтра ещё раз пройдитесь по учреждениям и узнайте, где и кто нужен. Я попробую Вам помочь. А в школу не ходите, это опасно, это идеология.

Окрылённая надеждой и человеческим отношением к себе, вернулась Нина домой. Через несколько дней её оформили счетоводом в бухгалтерию столовой райпотребсоюза. Оклад небольшой - 350 рублей в месяц. Янина Иосифовна Закутилина, старший бухгалтер, рассказывала: "Я давно заметила эту женщину, худую, измождённую, с ребенком на руках, её серые, печальные глаза. Но зная, что она ссыльная, ничем помочь не могла. Несколько раз обращалась в вышестоящие инстанции с просьбой разрешить принять её на работу, но неизменно получала отказ. И вот только вчера неожиданно такое разрешение было дано."

Янина Иосифовна определила Нине стол, счета, арифмометр, принесла ведомости и попросила просчитать их и подбить итоги. Нина с отчаянием пыталась вспомнить то, чему я её учил, но ничего вспомнить не могла. Она смотрела на лежащий перед ней лист, испещрённый числами, написанными фиолетовыми и красными чернилами, и отчаяние охватило её. Всё! Придется ух-

дить. Но не уходила. Янина Иосифовна очень тактично будила в ней воспоминания. Постепенно, день за днём, оттаивала и возрождалась её душа, её память. Она включилась в работу.

Валерика оставляла дома со старшей дочкой хозяйки, которая и до этого была очень дружна с ним. А когда обстоятельства требовали работы в вечернее время, брала Валерика с собой в контору, и он с восторгом катал по полу счёты. Валерику было уже 10 месяцев. До моего освобождения оставалось без малого пятьсот дней.

Для меня это время тоже было нелёгким. Конечно, я не голодал, не мёрз, не страдал от непосильной физической работы. Более того, положение моё по лагерным меркам было более чем благополучным. Фаерштейн ценил меня как специалиста, привлекая к обсуждению производственных вопросов, особенно если они затрагивали интересы бухгалтерии. В летние месяцы я занимался с его сыном математикой и физикой, готовя к поступлению в вуз. Самые лучшие, даже дружеские отношения сложились у меня с Ершовым. Он поступил учиться (заочно) в институт, и мы теперь по вечерам штудировали с ним работы классиков марксизма-ленинизма.

Укрепилась связь с центральной бухгалтерией Усольлага, куда меня в последнее время ежеквартально вызывали для участия в составлении сводного отчёта. Главный бухгалтер управления Шаханов уже не раз заводил со мной разговоры, предлагая после освобождения остаться в Соликамске. Обещал хорошую зарплату, квартиру. Конечно, это было очень заманчивое предложение. Север Молотовской (теперь Пермской) области входил в территорию расселения спецпоселенцев и ссыльных, так что, в принципе, и я и Нина могли бы устроиться в Соликамске. Но захочет ли Тарасюк помочь в переводе Нины, достаточно ли для этого просьбы Шаханова? Многое зависело от моей работы. Я это прекрасно понимал и трудился, не покладая рук.

Сейчас, особенно после того как удалось прочесть «Архипелаг Гулаг», мне стыдно признаться в таком образе жизни. Получается, что я был не только типичным «придурком», но и карьеристом. Но что было мне делать. На сотни рядов прокручивал я различные варианты, ища выход из создавшегося положения. Приближающееся освобождение и радовало и пугало. Пугало ответственностью за судьбу, а, возможно, и за жизнь Валерика и Нины.

Но ещё тяжелее, ещё мучительнее переживал я разлуку. Только теперь я по-настоящему понял, что лагерь - это не только голодное существование, не только непомерно тяжёлые условия

жизни, не только произвол и оскорбления. Даже выбравшись из всего этого ужаса и достигнув сравнительного лагерного благополучия, не обретешь покоя. Остается ещё нечто, пожалуй, самое главное, что одно может довести до безумия - это отсутствие свободы, невозможность распоряжаться своей судьбой, быть рядом с самыми близкими и дорогими тебе людьми. До сих пор мне везло. Ценой упорного труда удавалось добиваться расположения начальства. Хотя вся система противилась тому, чтобы человек выжил и поднялся, но и в ней происходили сбои: находились люди, которые помогали, не требуя предательства. Это позволило мне достичь определённого материального благополучия. Но теперь возможности покровительствующих мне людей оказались недостаточными, и я со всей остротой ощутил неумолимую жестокость государственной машины.

Теперь для нас с Ниной связующим звеном стали письма, и мы их писали. Многие из них сохранились до сих пор. Гора писем. В них не было глубоких идей, философских раздумий, художественных достоинств. Зато были детали, мелочи быта, которые создавали иллюзию присутствия. В жизни Нины и Валерика мне всё было интересно, всё важно.

Как радовали меня вложенные в письма ниточки, которыми Нина мерила его рост, контуры ручек, отпечатки ладоней, пряди волос, каракули. Когда однажды, порезав пальчик, он кровью испачкал письмо, Нина обвела это место кружочком. Я долго целовал коричневое пятнышко. С тех пор в каждом из наших писем присутствовали кружочки, и я, получая письмо, прежде всего, целовал их. По вечерам, особенно в полнолуние, когда Москва передавала сигналы точного времени, одновременно глядели на Луну, и нам казалось, что души наши соприкасаются.

Наконец, воспоминания! Я искал их повсюду: в вещах, событиях, явлениях природы, людях. Их поиски привели меня на Штабную, вернее на то, что от нее осталось после закрытия.

Был конец июня 1950 года. Выходной. День превосходный, ни облачка, тихо, тихо. Мы с Васей Середой шли то лесом, то полями, сердце тоскливо сжималось при каждом знакомом повороте. Шомшино, колодец, длинная тенистая аллея с большими раскидистыми деревьями, потом узенькая тропинка. Мы с Васей разделись по пояс, чтобы хоть немного загореть. Шли медленно, с наслаждением вдыхая свежий, пахнущий хвоей воздух. Для Васи всё вокруг было ново, мне же всё напоминало Нину. Шли мы с ней по этой дороге всего один раз, но как запомнилось мне всё. Вот ручей, пересекающий тропинку, рядом бревно, на котором мы с Ни-

ной когда-то отдыхали. Я свернул вправо, прошел между деревьями, где когда-то напугала нас белка. Вася с удивлением смотрел на меня, на слёзы в моих глазах. Он ничего не знал, и я ему, естественно, ничего не сказал.

Наконец Штабная. Все кругом развалилось, заросло травой. Зона местами разобрана. Пройдя вахту, повернули направо к конторе, зашли в бывшую плановую часть, в кабинет Фаерштейна, потом в бухгалтерию. Постояли у окна, около которого когда-то стояли наши с Ниной столы. Пол в этом месте теперь провалился, видна половая балка, торчат обломки досок, а между ними кусты крапивы.

Окно, напротив, здесь стоял стол Пустовойта. Теперь стола нет. Валяются какие-то ящики. Висит обрывок телефонного провода. Когда-то именно здесь, в этом углу бухгалтерии, я впервые резко разговаривал с Ниной. Мы были вдвоем, давно пробили отбой. Я требовал полного разрыва с Давидом, она страдала и мучилась. Разум, совесть и чувства боролись в ней. Прибежала Оля, пытаюсь увести её от меня. Нина просила последнего поцелуя. Боже, что творилось тогда в сердце моём, но все же я ей отказал. Бедная, родная моя, сколько боли и страданий причинил я ей тогда, но ведь иначе поступить я не мог. Мы должны были сделать выбор, ибо зашли слишком далеко, перешагнув рамки простых товарищеских отношений. Я тогда, конечно, вёл себя слишком жёстко, но надо было прекратить эту изнуряющую нас душевную борьбу. Помню возмущение Ольги, обвинявшей меня в легкомыслии и жестокости. Помню, как уговаривала она Нину не унижаться и вернуться к Давиду. Но чувства наши были сильнее. Нина осталась.

Вот больничный барак (мы его называли стационаром), где в самом начале нашего знакомства я передавал Нине книги через форточку и, обменявшись двумя-тремя малозначащими фразами, смущённый, уходил. Вот кабинка санчасти, где работала Муся Олейник, и где у меня был последний на Штабной разговор с Давидом Андреевичем, требовавшим, чтобы я допустил его к Нине.

Вот женский барак, около которого, провожая Нину после вечерней работы, я прощался с ней, сначала пожатием руки, а потом робким поцелуем в лоб. Мы вошли. И здесь следы тлена и разрушения. Вагонки покосились, на всем слой пыли, а через щели буйно пробивается трава. Отчётливо вспомнился Новый Год, когда, несмотря на ссору, я зашёл поздравить Нину. Она лежала больная, а Давид стоял у неё в ногах, облокотившись на верхние полки вагона. Отстранив его, я подошёл к Нине и, поздравив с новым годом, поцеловал в губы.

И вот, наконец, мы с Васей зашли в нашу с Яковом Яковлеви-чем кабинку. Дверь сорвана, печурка развалилась, стёкол в окне нет. Мой топчан всё ещё здесь, с подломленной крестовиной. Помню, я лежал на нем, а Нина стояла наружи у окна, и в руках её была веточка березы. Яркое осеннее солнце играло в её волосах и пожелтевших листьях. Она тихо улыбалась мне. Эти листья, вы-сохшие и крошившиеся при любом неосторожном прикосновении, ещё многие годы хранились у меня как свидетели зарождавшегося тогда чувства.

Со Штабной мы ушли уже вечером, полные воспоминаний и грусти. Пришли на Тракторную и по УЖД вернулись в ОЛП.

На следующий день после нашего путешествия в прошлое на-чалась очередная отчетная кампания. Над полугодовым отчетом работали в новых условиях. Вечерние работы охрана, из сообра-жений безопасности, отменила. Всех, у кого не было пропусков, в шесть вечера уводили в зону. Оставались только мы с Васей Се-редой. Засиживались до двух-трёх ночи. Работали впроголодь - готовить было некому. Возвращались в зону и сразу ложились спать. Жил я теперь в бараке АТП. Кабинка была мне ни к чему, только лишние заботы и лишнее напоминание о прошлом.

В середине июля очередная поездка в Соликамск с отчётом. Её я использовал для того, чтобы отправить по возможности больше писем. Нинины же письма шли в Кушмангорт, и получить их я мог только вернувшись домой. За дни моего отсутствия их на-копилось много. В них - в основном о Валерике. В одном из писем фотография: Нина с Валериком. Валерику 10 месяцев. Нина сильно похудела, взгляд печальный. Валерик толстенький, в кос-тюмчике, поглаживает её по щеке и вид такой, как будто хочет ска-зать: «Мама, не расстраивайся, со мной не пропадешь».

В конце августа вместе с Васей ездили на верхние лагпункты помогать Ершову косить сено. Какое это было приятное время! После нескончаемых цифр, бумажек, актов из прокуренного душ-ного помещения бухгалтерии попасть в луга, поросшие молодыми, нежными берёзками, вдыхать свежий, насыщенный ароматом цве-тов воздух, чувствовать физическую усталость и видеть, как с ка-ждым взмахом косы под ноги ложится скошенная трава.

19 сентября получил от Нины письмо ещё с одной фотогра-фией Валерика. Ему годик. На фотографии он в бархатной курточ-ке стоит на каком-то сундучке, а сундучок на стуле. Похоже, что сооружение качается. Во всяком случае, вид у Валерика напря-жённый, вот-вот заплачет. Может быть, потому, что не за что дер-жаться. Рядом на этажерке торт со свечей посередине - напоми-

вание о моём детстве. Выглядит Валерик совсем неплохо: крупный, упитанный, пухлые щечки, губки бантиком.

В начале октября вновь квартальный отчёт и поездка в Соликамск. Кто-то написал жалобу, что я незаконно живу в городской гостинице. Во избежание неприятностей перешёл жить на один из лагпунктов КОЛПа «Гараж». Условия там оказались для меня не хуже, чем в гостинице, и притом намного дешевле. Вновь переговоры с Шахановым. Но ничего определённого. Одни уговоры, гарантий нет. Возвращался в начале ноября на личном катере Умнова. Он шёл за ним в Кушмангорт. Обшитый листовой сталью корпус содрогался от частых ударов о топляки и Бог весть откуда взявшиеся льдины. Похолодало рано. С верховьев Камы и Вишеры сплошные поля шуги, она трётся о корпус, крошится. На катере тепло, уютно. Кают-компания и кабинет Умнова отделаны красным деревом. Горячий душ, хорошая еда.

Дома, в Кушмангорте, меня ждала пачка писем от Нины. Судя по ним, жизнь у неё налаживалась. С работой освоилась, заработок, хотя и небольшой, но постоянный. Плюс мои переводы. Однако расходы ещё больше: плата за квартиру, няне, кое-что на одежду Валерику, ведь он рос, и довольно быстро. На питание оставалось совсем немного. А продукты стоили в два раза дороже, чем у нас на Урале: яйца 25 рублей десятком, у нас - 10 рублей; молоко - 4 рубля литр, у нас - 2 рубля. К тому же северный завоз в зиму 1950 года был очень плохим. Магазины почти пусты. Нина готовила горячее один раз в день. В остальное время - чай.

Давно надо было отнять Валерика от груди, но она никак не решалась. Сильно похудела. Надвигалась полярная зима, а Нина была практически раздета. Нужно было зимнее пальто и особенно валенки. Но на такие покупки денег не хватало.

В письме от 23 ноября она писала: *«Грустно стало, ушёл последний пароход, закрылась навигация, наступила зима, скоро наступят сильные морозы. Валерику уже годик и почти три месяца, ходит хорошо, но плохо говорит. Очень любит петь песенки с дядей по радио - танцует, отчего вывихнул левую ножку и почти месяц лежал в гипсе. Теперь уже дней пять, как сняли гипс, ходит. Милый мой танцор.*

Прихожу домой, он встречает словами «Ти-ти». А ведь и, правда, время отнять от груди, недаром ты ругаешься. А мне все жаль. Очень смыслённый мальчик, что ни попрошу - найдёт и принесёт. Спокойно идет в самый тёмный угол, очень любит собак, кошек. Добрый - всех накормит, со всеми поделится.

Любит на саночках кататься - вози его целый день, и не надоест. Охотно играет с детишками, но с большим удовольствием идет к бабушкам. К дядям же - ни за что. По-видимому, потому, что дядя врач уколол ему пальчик - брал кровь на анализ, да ещё с больной ножкой понесла на рентген, а там дядей было три и очень темно. Со своими играет, смеётся, но зайдет кто-нибудь незнакомый - улыбнуться не заставишь. Серьезный».

Чем ближе приближалось время моего освобождения, тем больше Нина терзалась сомнениями. Приеду ли я, а если приеду, то не окажусь ли без работы, без возможности реализовать себя. Хотела, чтобы я любил Валерика так же, как и она, и в то же время боялась, что если я приеду, то не столько из-за любви к ней, сколько из чувства долга перед Валериком. Я уверял её в обратном. Перечитывая сейчас свои и нинины письма, поражаюсь тем пустякам, которые мучили её. Тряслась над ним, конечно, прежде всего, из-за любви к нему, но еще и потому, что считала, он был главным, что связывало нас.

Новый, 1951, год я, Вася Середа, Вася Шиндин и Аркадий Федосеевич встречали в бараке головного лагпункта. За зону никого не выпустили. Режим, как всегда в такие дни, усиленный.



*Туруханск. Зима 1950 года.
Нина с Валериком в ссылке*



Туруханск. Сентябрь 1950 года



*Туруханск. Сентябрь 1951 года.
Валерику 2 года*



*Туруханск. 1952 год.
До встречи осталось
всего два месяца*

Однако Вася Шиндин все же ухитрился где-то раздобыть бутылку вина. Отмечали Новый Год трижды: в 20 часов по московскому времени вместе с туруханцами, в 22 часа - вместе с уральцами и в 24 часа - вместе с москвичами.

Настроение плохое. Все мысли о Нине и Валерике, о том, как плохо и одиноко им в эту новогоднюю ночь. Пытаюсь представить себе Туруханск. На высоком, крутом берегу Енисея низкие, занесённые снегом домики с маленькими, заиндевевшими окнами. Завывает ветер. Тучи снежной пыли, шурша, бьются о стекла. Нина, конечно, не спит. Склонясь над кроватью Валерика, целует его. Он морщится, трёт кулачками глаза. Нина, боясь, что он проснётся, тушит свет, подходит к окну. Бесконечный мрак поглощает её. А мысли далеко за белёсыми просторами тундры, за оцепеневшими в зимней стуже лесами, за снежными шапками гор.

А, может быть, Валерик болеет или у них нечего есть! Мысли, одна тревожнее другой, мучают меня. Воображение рисует самые мрачные картины и кажется, чем страшнее они, тем лучше им там.

На самом же деле все было не так, как представлял себе я, во всяком случае не так романтично. Новый Год Нина с Валериком встречали у Закутилиных. Было довольно весело. Шутили, смеялись и даже танцевали. Правда, как писала позже в письме Нина, мысль обо мне не покидала её ни на минуту. Валерик весь вечер играл с Ритой - старшей дочкой Янины Иосифовны. В десять уснул. В полночь Нина, целуя его, расплакалась, и все долго успокаивали её.

Утром водила Валерика на ёлку, которая была организована для сотрудников столовой. Ёлка красивая, нарядная. Вокруг малышня. Нина с Валериком припоздали, дети уже танцевали под баян, топая ножками, кто, что и как мог. Лица радостные, довольные. Валерик был одет в белую заячью шубку и такую же шапку. Когда они зашли, дети закричали: «Дед Мороз, Дед Мороз» и, не дав раздеться, поставили его под ёлкой. Валерик, видя все это впервые и не понимая, что происходит, замер с широко раскрытыми глазами. А дети, взявшись за руки, пели песенку про ёлочку. В тот вечер Нина молила Бога, чтобы это Новый Год был последним, который мы встречали в разлуке. Но надежд на это было мало, и письма её полны тревоги о будущем.

А у меня всё ещё никакой определённости. Зарегистрируют ли наш брак заочно? Если регистрируют, то, отпустят ли Нину в Соликамск? А если нет, то что делать? Может быть, надежнее сразу проситься в Туруханск? Но что я буду делать там, найду ли работу? Эта проблема не давала покоя. В своих письмах я успо-

каивал Нину, уверяя, что и в Туруханске мы сможем хорошо устроиться, что построю теплицы и у нас будут необходимые Валерике овощи. Верил ли я в то, что писал? Кажется, верил. Ведь в основе своей я был деятельным человеком и до сих пор, по крайней мере в малом, мне везло.

Двадцать пятого февраля из управления пришла телефонограмма, требующая заполнить на меня опросный лист. Такие запросы приходили на всех заключённых немцев для определения места последующего после «освобождения» поселения. Самым трудным для меня был вопрос о семейном положении: писать о Нине и Валерике или нет? Ведь никаких документов о том, что это моя семья, не было. И, кроме того, если я их впишу, то, удастся ли мне остаться в Соликамске? Я промучился в сомнениях ночь и утром решил попробовать: если разрешат, то запишу. Записать разрешили. Что за этим последует, было неясно.

А режим в лагере все ужесточался. Закончилось разделение мужчин и женщин. Всех политических, кроме осуждённых по статье 58-10, отправили в спецлагеря. Все чаще стали приходиться этапы заключённых со сроками до 25 лет. Особенно много лиц кавказской национальности: азербайджанцев, ингушей, чеченцев. Последние выделялись. Суровые, решительные, сплочённые и беспощадные. При них притихли самые отчаянные наши уголовники.

Помню случай, потрясший наш ОЛП. В рабочей зоне один из уголовников ударом ножа ранил чеченца в руку. На помощь пострадавшему бросились его соотечественники. Охрана, уступив просьбе бандита, увела его в жилую зону и посадила в изолятор. Вернувшись в конце рабочего дня в зону, чеченцы ворвались в барак уголовников, последним не помогли ни численный перевес, ни заточки, ни кастеты. Чеченцы избивали их и выбрасывали в окна. За ними санитары с носилками подбирали чуть живых бандитов и уносили в санчасть. Не обнаружив зачинщика и узнав, что он в изоляторе, чеченцы притащили матрацы и, обсыпав изолятор соломой, пообещали его сжечь.

Положение спас Фаерштейн, вызванный с верхних командировок. Он пообещал, что бандита, ранившего чеченца, будут судить, а остальных уголовников вышлют за пределы ОЛПа.

В конце марта Ершова перевели в Соликамск заместителем начальника финансовой части Управления. К нам в Кушмангорт главным бухгалтером назначили вольнонаёмного бухгалтера Амборского ОЛПа Балакирева. Хотя мы с ним были давно знакомы по управлению, но это был не Ершов. Отчёт за первый квартал

везли уже с Балакиревым. До Чердыни на лошадях, а из Чердыни до Соликамска на маленьком двухместном самолете. Летели 100 километров три четверти часа. Качало ужасно. Чтобы не вырвало, кусал себе руки. Приобретённый в этом полёте синдром сохранился на многие годы. Зато возвращались пароходом в двухместной каюте.

Дома меня ждала пачка писем. Нина писала, что Валерика удалось устроить в садик, хотя ему не было еще и двух лет. Он полностью сам обслуживал себя. Нянечки не могли нахвалиться, и Нина им очень гордилась. Но однажды он её подвел. В садике печник, ремонтируя печь, выгреб в ванну кучу сажи и пепла. Валерик, как был, в белоснежной наглаженной рубашечке и шортиках, залез в ванну и стал «плавать».

Одно из моих майских писем посвящено Фаберу. Я всегда восхищался их семьёй, такой мирной и дружной, и вдруг оказалось, что его жена уже давно изменяла ему. Семья распалась: двое сыновей, один десяти, другой семи лет, оказались без отца. А ведь, казалось, у них было всё для счастья. И, главное, они были рядом, могли ежедневно общаться, их не разделяли, как нас, тысячи километров. А как сложится наша с Ниной жизнь, когда мы, наконец, будем вместе? Какие новые проблемы откроются перед нами с высоты достигнутого счастья?

Червь сомнения свил себе гнездо в глубинах моей души. Опять ревность. Ревность к тем людям, которые окружали Нину. Ведь уже почти два года, как мы в разлуке. Наверное, там немало интересных мужчин. А Нина так любит танцевать. Наверное, есть и клуб. Не сидит же она все вечера дома. Я гнал от себя эти мысли, а они снова и снова всплывали в моем сознании. И всё же любовь моя была сильнее ревности. Вот письмо мое от 8 июня 1951 года.

«Сегодня утром, идя на работу, я впервые в этом году увидел цветы, помнишь, те мелкие, дикие анютины глазки, которые я когда-то приносил тебе каждое утро. Какие это были, хотя и тревожные, но хорошие дни. Каждое утро, встречая новый рождавшийся день, я имел в нем и цель, и стремление, и радости, и тревоги, и каждый такой день был насыщен тобою.

Тогда, идя в контору, я умышленно шел не по дороге, а по полю; глаза мои шарили по траве в поисках робко выглядывающих то тут, то там анютиных глазок. Они кивали и улыбались мне, а вместе с ними улыбалась вся природа. В эгоизме любви своей я рвал их, безжалостно лишая жизни, рвал для тебя, и

возможность доставить тебе радость оправдывала в моих глазах все.

Это было так давно, и так давно не рвал я анютиных глазок, не замечал улыбавшегося радостно солнца, ибо не было со мной тебя и утро не сулило мне радостной встречи с тобой. Дни были однообразны и пусты, а мысли мои далеко, далеко.

И только по временам, вот так, как сегодня утром, очнувшись на мгновение от суеты жизни, я с удивлением замечал, что безразличная к человеческим проблемам природа живет все той же неизменной и прекрасной жизнью.

Было раннее утро, первые лучи нежного северного солнца освещали вершины сосен; его косые лучи еще не грели, и воздух был полон ночной прохлады. Я, как когда-то, шёл медленно, стараясь по возможности полнее насладиться окружающей меня красотой и воспоминаниями. Все вокруг так напоминало мне прошлое, что я невольно опять скользнул глазами по траве, и снова, как когда-то, закивали, заулыбались мне анютины глазки.

О, как я обрадовался старым знакомцам. Я остановился, присел, рука моя потянулась к крупному нежному цветку, пальцы взяли стебелёк низко-низко, у самой земли, смяли шершавый лепесток. Цветок вздрогнул, его бархатный, фиолетовый с жёлтым венчик взглянул на меня печально-печально и безжизненно мёртвый остался в моей руке.

Когда-то это доставляло радость, а теперь! Я выпрямился, в руке у меня лежал мёртвый, безжизненный цветок, и все вокруг казалось бесцветным и ненужным. Ибо не к кому было спешить, не для кого было рвать цветы, ибо не было со мной тебя.

Расстроенный, пошел я к конторе, где меня ждали обычные заботы и дела. Только вот теперь, вечером, когда никого уже нет вокруг, я снова с тобой - пишу тебе. Рядом на столе лежит поблёкший цветок, и вид его рождает грусть. Его я посылаю тебе. Высохший, он потеряет свой вид, сморщится, потускнеет. Но он будет от меня и, надеюсь, будет приятен тебе.»

С тех пор прошло 45 лет. Нет уже в живых многих близких мне людей, нет Нины. Подшитый же некогда к письму цветок сохранился.

Так в заботах и тревогах бежало время. Всё меньше и меньше не вычеркнутых дат оставалось в моём календаре, всё ближе время освобождения.

Вообще-то, в соответствии с постановлением суда, срок моего нахождения в лагере заканчивался 9 марта 1952 года. Но за время пребывания там у меня накопилось около 150 зачётных дней, и освободить меня должны были 17 октября 1951 года. Для нас с Ниной эти дни значили многое, и мы опасались, что в канцеляриях Усольлага они могут затеряться. Такое уже бывало. Потом, после освобождения, мне не раз снился один и тот же сон: прихожу на освобождение, а мне объявляют: “Придуркам зачёты не положены, ждите девятое марта!”

Наконец, 4 октября из Соликамска пришла телефонограмма с требованием этапировать меня в КОЛП на предмет оформления



Соликамск. 1951 год. В период сдачи последнего годового отчёта

на освобождение. А это означало пеший этап по разбитым дорогам с ночёвками на попутных лагпунктах и встречи с местными уголовниками. Таков был порядок. Какой бы высокий пост ни занимал заключённый, какой бы поддержкой ни пользовался, по каким бы пропускам ни ходил, последний свой лагерный путь (на свободу или в могилу) он должен был совершить в сопровождении конвоя. Поэтому, готовясь к этапу, оставил все более или менее ценные вещи (пальто, костюм, ботинки) и книги Фабера. Не хотел провоцировать уголовников и подвергать себя опасности быть обобранным. Для старого лагерника это было бы слишком унижительным.

Однако мне опять повезло. Фаерштейн договорился с Управлением о том, что я приеду в Соликамск после завершения квартального отчёта, а конвоировать меня будет Балакирев, который, как и Ершов, был лейтенантом МВД. Я не возражал. Теоретически у меня были всего две возможности: либо остаться в Молотовской области в надежде, что начальство поможет перевести сюда Нину, либо ехать этапом в Красноярский край и там добиваться воссо-

единения с Ниной и Валериком. Фаерштейн предлагал остаться в ОЛПе в должности начальника плановой части. Я дал предварительное согласие. С Управлением вопрос был согласован и ждали только результаты из Москвы о возможности перевода Нины. А его всё не было.

Тринадцатого октября, закончив отчёт, выехал с Балакиревым в Соликамск. Ещё несколько дней на сдачу отчёта, и вот я в отделе, через который проходят все идущие на освобождение. Отстояв положенную очередь, вхожу в кабинет. За барьером, на рабочих местах - девушки. В углу за массивным письменным столом строгого вида женщина - по-видимому, начальница.

- Фамилия, статья, срок? - спрашивает меня сидящая у самого барьера девушка.

Обычный для лагерника вопрос неприятно режет слух. Хочется крикнуть: "Я уже не заключённый!" Но послушно, как молитву, выдавливаю из себя требуемые сведения. И вдруг вопрос:

- Куда намерены ехать?

Я замер. Чего-чего, а такого вопроса я не ожидал.

- Как куда, ведь я немец, - полувопросительно, полуутвердительно выдавил я из себя.

Девушка, слегка раздражённо:

- Вы можете ехать куда хотите, за исключением всех краевых и областных центров. Вы что же, до сих пор не решили, куда едете? Тогда идите и подумайте, а мне надо работать.

- Но ведь я немец и поэтому подлежу закреплению, - оправдывался я.

Вмешалась начальница:

- Из Тамбова и Тамбовской области немцы не выселялись. Поэтому вам положен паспорт. В нём только одно ограничение: минус все союзные, краевые и областные центры, так называемый тридцать девятый пункт. Поэтому выбирайте и побыстрее, нам некогда, за дверью очередь. Вы сами видели.

Легко сказать выбирайте. Для меня всё сказанное было полной неожиданностью. По существу это было второе освобождение. Первое - из лагеря, и к нему я был готов, второе - от спецпоселения, и это был, действительно, подарок судьбы.

Оттягивая решение, выясняю:

- А если я назову одно место, а потом передумаю и поеду в другое?

- Это ваше право, нам надо знать, до какого места вам выписать деньги на проезд.

- Тогда пишите: Туруханск, Красноярского края. Там моя жена и сын, - зачем-то уточняю я.

И вот я за вахтой КОЛПа и в руках у меня паспорт, который, несмотря на 39-ый пункт, открывал такие возможности, о которых я не смел и мечтать.

Паспорт! В те годы обладание им давало огромные преимущества: возможность сравнительно легко перемещаться по стране, менять место жительства, работу, образ жизни. Однако право на паспорт имели лишь представители рабочего класса и интеллигенции. Большая же часть населения паспортов не имела. Не выдавались паспорта сельским жителям и прежде всего колхозникам, трудармейцам, спецпоселенцам, ссыльным и, конечно же, заключённым. Без паспорта человек в те годы был, по существу, крепостным.

Наличие паспорта открывало передо мной широкие перспективы. Я мог и, наверное, должен был немедленно ехать в Красноярский край и там, устроившись работать в каком-либо леспромхозе, добиваться перевода ко мне Нины и Валерика. Мог ехать к Ляле в Большие Пады, Тамбовской области, побывать на маминой могилке. Мог ехать к Эрночке в Здвинск. Когда ещё мне удастся это сделать? Мог всерьёз подумать о получении высшего образования, повышении квалификации, выборе интересной и высокооплачиваемой работы и многое, многое другое.

После долгих и мучительных раздумий решил ехать в Тамбов к Ляле. Боялся, что в Красноярском крае меня могут, как немца закрепить на вечное поселение и тогда прощай надежды на учёбу, на встречу с Лялей, Эрночкой. А о возможности закрепления меня предупреждали многие знающие люди. К тому же в Туруханск я всё равно не успевал. Навигация по Енисею заканчивалась в начале октября. А приеду я в Красноярск месяцем раньше или позже, что это меняло. Оставалось только одно сомнение. Сможет ли Нина продержаться это время без моей материальной поддержки и не подорвёт ли это её уверенность в моём стремлении к нашему воссоединению?

Победило желание побывать в Тамбове, окунуться в прошлое, в молодость.